

## ЗОЛОТОЕ ТАВРО

### I.

Перекоп уже лежал за спиной. Разбитые армии Врангеля поспешно откатывались на юг, к английским кораблям. Вслед за ними, рассыпаясь по степи веером, скакала громкоголосая сабельная лава в лихо сдвинутых на затылок краснозвездных шлемах.

— Дае-е-ошь Крым!

В безостановочном этом движении немудрено не заметить, как споткнется у кого-нибудь на всем скаку измученный конь, рухнет на землю. И пока поднимется с твердой, как камень, утрамбованной сапогами и копытами земли, распаленный стремительным преследованием врага боец, лавы уже не видно, она унеслась вперед и только стена пыли заволакивает горизонт.

— Дае-ошь Крым!

... Пока красноармеец Борщев вытаскивал ногу из-под крупа коня, его эскадрон скрылся из виду.

За ближнем перевалом уже вставал белокаменный Севастополь, уже голубело море и до злости, было обидно, что он, Борщей, остался здесь, в каких-нибудь двадцати километрах от цели, один на один с трупом загнанного коня. Достать новую лошадь можно было лишь в эскадронном обозе, но обоз отстал и вряд ли появится раньше заката. А к тому времени и Севастополе все будет закончено.

И вдруг Борщев услышал ржание. Может быть, ему померещилось? Но конь заржал еще раз и где-то совсем близко. Эхо, разбуженное ржанием, полетело с перевала на перевал.

Только тут заметил Борщев невдалеке большое белое здание, закутанное в сухой дикий хмель. Окна его были разбиты, двери распахнуты настежь. Над невысокой каменной стеной двора торчал тонкий шест, на котором, раскачиваясь на ветру, белел нивесьть зачем подвешенный череп лошади.

Перехватив карабин на изготовку, Борщев крадучись приблизился к зданию. Во дворе глухо ударились о сруб колодца ведро, выплескивая воду.

— Эй! — крикнул Борщев. — Кто тут?

— Входи, входи. Не заперто, — откликнулся спокойный хриповатый голос.

Борщев толкнул калитку. Опуская в колодец ведро, стоял старик, а через его руки, позванивая удилами, тянулся к воде белый красавец-конь.

Борщев остолбенел. Такого коня он еще не встречал. В песнях о таком коне поют, а вот в жизни — в первый раз увидел.

— Твой? — спросил старика Борщев, оглядывая невиданного коня. — Неужто твой?

Старик усмехнулся.

— К чему он мне такой? — ответил он. — Пою я его жалеючи. Вот уж второй день стоит тут без призору.

— Как так?

— А вот так, — бросили его. Им ныне не до того. Бегут, аж пятки сверкают. Дивуюсь, как штаны не забыли...

Старик засмеялся мелким, дребезжащим смешком, и седая борода его затряслась в такт смеху.

— На нем, на коне-то, этот самый фон-барон, или как его там величают, собирался въехать в Москву под звон колоколов всех сорока сороков. Два раза приезжал, примеривался к седлу. Потеха!

Борщев, задыхаясь от волнения, перекинул карабин через плечо и цепко схватил коня по уздцы.

— А ну, открывай, старина, ворота, — крикнул он. — Надо нагнать этого барона на его же коне.

Прошло несколько дней. У лобастых курганов, что взметнулись над аджанскими солончаками, был устроен в честь одержанной победы парад конармии.

Почти весь день мимо кургана, на котором стоял командарм, скакали овечьи боевой славой лихие кавалерийские полки. Почти весь день не смолкало громовое «ура».

Командарм улыбался. Он то и дело узнавал знакомые лица. Были среди них командиры, были и рядовые бойцы: терцы, кубанцы, ставропольцы, луганцы, земляки с Дона.

Уже наступил вечер, как вдруг командарм, не отрывающий своего взора от скачущей конницы, вздрогнул. Брови его удивленно приподнялись.

— Глядите вон на того правофлангового. Видите? Клянусь вам, что он на «Цилиндре».

Командиры, стоявшие рядом, прищурили глаза и пристально посмотрели туда, куда указал им взволнованный командарм. Они не сразу его поняли, но когда поняли, сами заволновались, торопливо наводя на нужный фокус бинокли.

— Откуда? Не может быть!

— Он! — минуту спустя уверенно сказал командарм и отдал адъютанту приказ разыскать немедленно бойца на рослом белом коне.

Через несколько минут боец подлетел к командарму. Круто осадил коня, приложил ладонь к своей кудрявой чуприне и бойко отрапортовал:

— По вашему приказанию красноармеец Борщев...

Командарм шагнул вперед. Сбросил бурку, протянул руку и ласково погладил коня по крутой белоснежной шее. Черные глаза командира заулыбались, заискрились.

— А ну-ка, поверни его боком... я взгляну на тавро.

Командарм не ошибся. Перед ним стоял жеребец «Цилиндр», сын знаменитого «Ценного» и красавицы «Базилики». Правда, в ту пору, когда командарму довелось видеть, он был резвее и статнее, но как и прежде осталась у «Цилиндра» та же лебединая шея, тот же щучий профиль с выразительными и живыми глазами, те же четко очерченные симметричные формы, широкая и глубокая грудь, мускулистая холка и крепкие, сухие ноги, с небольшой западиной под запястьем.

— Ну, радуйся, Шумаков. Один найден.

Высокий, плечистый, стянутый ремнями Шумаков наклонился к командарму и, улыбаясь, ответил:

— Радуюсь, Семен Михайлович.

И, взяв коня под уздцы, поднял глаза на Борщева.

— Что ж, товарищ, слезай. Я дам тебе другого коня, а этого... этого я заберу с собой на конный завод. Он племенной.

## II.

Рос Шумаков в станице. Над крышей саманной хаты шумела акация, а над акацией кружились сизые голуби. Мать ругалась: «Перестань бегать по крыше — обрушишь». Ей, старой, не понять сладкой радости в мальчишеском сердце. Не то, что крыша — завались вся хата, а все равно не оторвал бы он своего зачарованного взгляда от солнечной стайки в небе.

Прошли годы, и перед Шумаковым точь-в-точь как та голубиная стайка, всполыхнулся табун. Это было уже не мальчишеское увлечение, а переданная по наследству любовь к коню.

Так и вырос Шумаков в ковыльной степи среди полудиких табунов. Кони были чужие, но он берег их от чистого сердца, берег как своих. Лошадей он любил независимо от того, чье тавро поставлено на них. Считал лошадь самым верным, испытанным другом, верил, что не подведет она человека, если в лихую годину накинуть на ее спину седло, понесет седока куда угодно, в огонь и в воду.

В тысяча девятьсот восемнадцатом в табун примчался на тачанке хозяин. Он был одет в полную военную форму, при всех своих крестах и медалях, встревоженный, злой. Вытащил из кармана бутылку, спросил:

— Пьешь?

Присели тут же на земле и хозяин налил стакан водки — плохо же он знал своего табунщика. За водку хотел хозяин, чтобы Шумаков загнал табун в плавни: пусть кони погибнут в трясине, только бы не достались они «красному унтеру Буденному».

Шумаков думал иначе, а потому пить не стал, а скрутил хозяину руки потуже, перекинул его через седло и, минуя трясину, погнал табун к Буденному.

Семен Михайлович, выслушав рассказ Шумакова, усмехнулся в усы и сказал:

— Вот, дорогой товарищ, когда порубаем всех врагов, организуем с тобой в этих местах конный завод. И выведем на этом заводе коня — не простого, а чистокровного, брат, такого коня, что не в Аравию, а к нам будут ездить за племенным материалом.

Шумаков тогда не поверил, что это всерьез; думал, командарм шутит. И уже совсем забыл про тот разговор, как вдруг, еще не окрепшего от ран, вызвали в штаб. Командарм узнал Шумакова сразу, улыбнулся и протянул руку. Потом подвел к столу, указал на оперативную карту, испещренную поверх красных стрел уже осуществленных атак зелеными кружками и сказал:

— Пора, Шумаков.

Шумаков сначала не понял, о чем говорит командарм, а когда понял — удивился. Пора ли? Ведь кругом еще грохочут орудия, а там, где должен раскинуться конный завод, все выжжено, вытоптано боями.

— Видишь ли, нахмурился командарм. — Дело это очень медленное. Не мне говорить тебе, сам знаешь. Чтобы получить и воспитать только одно поколение лошадей, нужно пять лет, а в одном поколении многого не сделать. Ты что же, Шумаков, боишься?

Нет, Шумаков не боялся трудностей. И когда склонились оба над столом, над картой, перед глазами, как наяву, поплыл окутанный высокими и шумливыми травами степной привольный простор. Куда ни кинь взор — табуны и табуны, гнедые, рыжие, белые — не арабской и не английской породы, а своей, пока еще неизвестно какой именно, но своей, отечественной, самой лучшей породы на всей земле.

— Нам конь нужен не для любования, — говорил командарм. — Нам нужен конь, который, не уступая по красоте чистокровному арабскому, соединил бы в себе выдающиеся верховые и хозяйственно-полезные качества. Важно, чтобы он имел ярко выраженную породность, обладал бы хорошей силой, был неприхотлив и способен перенести любые лишения. Ты понял меня?

— Понял, Семен Михайлович, — ответил Шумаков, глядя на командарма зачарованными глазами.

### III.

Сумрачная полуподвальная комната.

Возле окна, нивесть зачем переплетенного железной решеткой, сидит одинокий старик. Рваная свитка мешком висит на его покатых плечах, а руки, положенные на цементный подоконник, испещрены сеткой синих жил — руки старого водовоза.

Ему и сейчас надо ехать со своей бочкой по городу, да разве можно в такой час выезжать со двора? В городе идет бой, и пули хлещут вдоль улиц.

Старик смотрит через решетку на улицу и ждет конца. Он выедет со двора сейчас же, как только стихнет стрельба. Кто знает, может, ворвавшимся в город красноармейцам очень кстати окажется его бочка — после боя всегда хочется пить.

... Мимо окна пробежали два рослых синежупанника с винтовками в судорожно сжатых пальцах. Их мокрые от пота чуприны свесились сосульками на побагровевшие лица. Потом пробежали еще трое, уже без винтовок. Старик ждет. Все реже выстрелы, крики, ржанье коней и вот, наконец, на город опускается тишина.

Старик с трудом отрывает от подоконника затекшие синие руки и, разогнувшись, медленно направляется к двери. Пора. Долго возится во дворе, запрягая кобылу, а та встречает хозяина тихим ржанием.

Водовоз выезжает на улицу. Синежупанников с нее, как водой смыло. Только в конце улицы, задевая за ветви акаций, кто-то бешено гонит белого коня.

— Ага, — злорадно усмехается водовоз. — Задали вам перцу... Скачи не скачи, а кончена, ваше благородие, твоя песня...

Чтобы не столкнуться со скачущим всадником, старик натянул правый повод и хотел переехать на противоположную сторону улицы. Под колеса попался брошенный патронный ящик и бочка едва не опрокинулась.

— Чтoб тебе, окаянному, шею свернуть, — выругался водовоз, — чтoб тебе...

И только успел он это сказать, лязгнули о булыжник копыта, и синежупанник, взмахнув руками, грохнулся вместе с конем на мостовую. Очумело, вскочив на ноги, синежупанник ударил сапогом

под брюхо лежавшего коня и, видимо, поняв, что не поднять его сейчас, как затравленный зверь оглянулся вокруг. Увидел водовоза, молча бросился к нему и шашкой начал рубить гужи.

— Что ты, сучий сын, делаешь! — закричал старик, соскакивая с бочки. — Грабят! Ратуйте, люди добрые!

Старик повис на возжах, Синежупанник, оскалившись, — совсем похож на волка, — наотмашь бьет водовоза плетью по голове, по плечам — куда придется.

... Когда старик пришел в сознание, он еще долго не мог понять, что за солдаты стоят возле него и почему к его бочке привязана не кобыла, а незнакомый, весь в грязи и коростевых пятнах, белый конь синежупанника.

\* \* \*

Полк шел на Гуляй-Поле. В полынях еще гуляла бандитская вольница длинногривого батьки Махно. Настала пора смыть с лица русской земли и эту погань.

Кони под бойцами были крепкие, сытые, львы, а не кони, и уже на рассвете четвертого дня полк вышел на свой исходный рубеж. Здесь надо было скрытно рассеяться по балкам, дать отдохнуть лошадям и подготовиться к бою. Командир полка, еще молодой, но рослый и широкоплечий парень в матросском бушлате, только что поужинал и собирался вздремнуть час — другой, как вдруг в штаб полка явились два бойца из третьего эскадрона и доложили, что ими задержан неизвестный. Правда, одет он в форму красного командира, но поведение его весьма подозрительно. Он все что-то высматривает, выспрашивает и записывает в черную книжку. Утром видели: несколько раз прошел он вдоль коновязей и ощупал тавро почти у всех лошадей.

— Введите, — сказал командир полка, застегивая на груди боевые ремни.

Ввели.

Щуря глаза и словно пряча улыбку, задержанный ладонью разгладил отпущенные на буденновский лад смоляные усы.

— Ваши документы, — сухо потребовал командир полка.

Задержанный неспеша отвернул борт шинели, засунул руку за пазуху и достал из потайного кармана скроенный из черной клеенки бумажник.

— Вот.

— А в руке что осталось? — нахмурился командир полка. — В правой руке.

— Этот документ не предъявляют, — ответил задержанный. — Это партийный билет.

Командир сделал вид, что не расслышал ответа, — он повторит свой вопрос, когда просмотрит документы. А пока задержанный пусть присядет на лавку, поближе к лампе.

Незнакомец вежливо поблагодарил, сдвинул в сторону лежащую на лавке черненную шашку и, растегнув шинель, присел. Лампа озарила его, и застывшие у порога конвойные удивленно переглянулись — на груди неизвестного увидели они два ордена Красного Знамени.

— Что же вы сразу не представились, товарищ Шумаков, вставая из-за стола и протягивая бумажник с документами, сказал командир полка. — Надо ж было сперва зайти ко мне.

Шумаков усмехнулся.

— Видишь ли, — заговорил он. — Дело это неотложное. А потом надо прямо сказать — в эскадронах мы не слишком желанные гости. Узнают, что заявился такой за лучшим конем, сейчас же спрячут да так, что и следов не найдешь.

— Что верно, то верно, — засмеялся командир полка. — Это даже пословица есть: что с бою взято, то свято.

А потом, вновь нахмурившись, спросил:

— Не нашли?

— Нет, не нашел, — вздохнул Шумаков. — Не нашел.

Оба задумались. Нелегко отыскать нужный след среди тысячи других следов.

— А знаете, — вдруг оживился командир полка, — поезжайте в Полтаву. Есть там один водовоз. У него — видел я — ну точно такой конь, какого ищете.

\* \* \*

Вот и белые хаты Полтавы. Только не верится, чтобы эта поездка окончилась удачей. Вряд ли конь, которого так настойчиво ищет Шумаков, попал к водовозу.

Шумаков сошел с поезда, закинул через спину сумку и огляделся. Город чужой и незнакомый с не исчезнувшими еще следами недавних боев. На железнодорожных путях скелеты разбитых и сгоревших товарных составов, а невдалеке разрушенные, с выбитыми глазами окон, дома.

Заметив стоявшего у вокзала извозчика, Шумаков направился к нему.

— Слушай, товарищ, ты не знаешь, где тут живет водовоз, который ездит на белом коне?

Извозчик сразу не ответил. Оглядел с ног до головы Шумакова: кто, мол, такой, по Есему видно — не здешний, а знает, какой масти лошадь у Апанаса.

Только после того, как Шумаков пустился на хитрость и сообщил ему, что у него для того водовоза есть письмо от родни, — извозчик с удовольствием заговорил.

— Ясно-понятно! Стало быть, это и есть Апанас. Дед Апанас. И лошадь у него белая. Раз так, садись — довезу.

Вечерело. Город лежал запыленный, тихий, весь затянутый огненным закатом. Над его разноцветными крышами кружились стайки скворцов — верный признак близкой осенней поры.

Тарантас дребезжал всеми своими болтами и гайками, подпрыгивая на булыжниках мостовой, извозчик поминутно чмокал губами и крутил над крупом лошаденки кнутом.

Вот и приехали. Шумаков расплатился с возницей и, когда тарантас скрылся за поворотом улицы, тронул щеколду.

Пожалуй, никогда сердце не билось так взволнованно, как сейчас.

— Неужели и эта поездка будет неудачной? — подумал Шумаков, прислушиваясь к неторопливым шагам за калиткой. — Неужели и на этот раз он вернется, без «Ценителя». Если у водовоза не «Ценитель», придется прекратить поиски и уехать на завод лишь с одним «Цилиндром».

...Разговор с водовозом происходил через порог калитки. Старик слушал хоть и настороженно, но сочувственно. Когда же Шумаков смолк, вытащил из бокового кармана очки и попросил документ.

— Против советской власти я не был и не буду, — сказал водовоз, возвращая Шумакову бумаги. — Ежели это он — забирайте. Жалко, конечно, но раз такое важное дело...

Солнце еще не зашло, и в распахнутой настежь двери конюшни играла золотая пыльца. Она завесила вход в конюшню прозрачной пеленой, не давала разглядеть, где стоит конь. А он стоял рядом, в трех шагах, мирно помахивая длинным хвостом.

— Ну что... он? — спросил водовоз.

Это был он, «Ценитель», родной брат «Цилиндра».

#### IV.

Усадьба разгромленного белогвардейцами старого конного завода стояла в открытой степи. Из любого ее окна открывался вид на бесконечный равнинный простор с редкими курганами. Порой, в жаркий полдень, поднимались над степью не высокие вихри и долго носились, гонимые ветром.

Когда в этих местах шла война, в старую усадьбу нередко заносило одетых в шинели вооруженных людей. Когда же отгремели здесь бои, усадьба совсем замерла, затаилась.

И жители ближнего хутора дивились: отчего не уходит оттуда старый коневод Авдей Иванович? Чего он живет там один в темной чердачной квартире. Хозяина конзавода и в помине давно нет, верно, и кости его сгнили. Кого ждет Авдей Иванович?

Удивлялись, но не знали, что эти же вопросы почти каждый день задавал себе и сам Авдей Иванович.

...Настала зима. По степи гуляла поземка, в трубе старой усадьбы выл ветер, под окнами звенели оледенелые ветви аканий. День проходил для Авдея Ивановича незаметно, но ночь наваливалась пустотой, давила сердце. Она будила у него невеселые думы о бегстве.

И может быть, давно расстался бы Авдей Иванович с этой звериной жизнью, если бы знал, что бумаги, которые лежат в его сундуке, не затеряются, не погибнут. То были драгоценные бумаги. В них мелким и круглым почерком Авдея Ивановича была шаг за шагом записана вся родословная коня знаменитого стрелецкого типа. Ее писал Авдей Иванович на протяжении тридцати лет своей работы на конных заводах. В этих бумагах обозначена каждая капля племенной крови, целый мир благородных имен.

В долгие зимние ночи вспоминает Авдей Иванович своих любимцев и любимиц, которым посвятил он всю свою жизнь, ради которых в одиночестве и прожил он много лет в этой волчьей степи.

Видно, нескоро новая власть вспомнит о коневодстве. Война пронеслась по стране от края до края, поломала, разрушила все — и не до коней сейчас. Усадьбу займет детский приют или батрацкая коммуна. Не случайно приходили сюда двое в солдатских шинелях. Осмотрели все, но о лошадях даже не вспомнили.

«Надо бежать отсюда», — с тоской думает Авдей Иванович. В Москве живет его старшая дочь, она давно приглашает его к себе.

И под самое рождество Авдей Иванович решил — уеду. Сложил вещи. Утром по ближней дороге поедут хуторяне в гтаничную церковь, с ними он доберется до железнодорожной будки, а там уже недалеко и полустанок.

Ночь выдалась метельная, совсем дикая. На крыше грохотало оторванное железо, о стены бились ставки. Казалось, что в окна кто-то стучит — настойчиво и злобно. Порой слышался пронзительный свист и трудно было понять, чей он: не го ветра, не то человека. А засвистеть и застучать могли и люди — в окрестности бродили бандиты. Но все-таки это ветер. Ветер ли?

Вдруг застучали в наружную дверь. Били в дверь настойчиво — Авдей Иванович во время войны не раз слышал подобные удары.

— Кто здесь? — крикнул он. — Что надо?

— Откройте.

Авдей Иванович отступил назад, затаился. Голос был ужой, незнакомый. Однако Авдею Ивановичу показалось, что где-то он слышал и слышал не раз этот голос.

В распахнутую ветром дверь ввалились сразу трое. Гроыхая о ступени шашками, отряхнули снег, размотали башлыки и стащили друг с друга оледенелые кавалерийские бурки. Порог квартиры переступили, когда привели себя в полный порядок.

— Ну, здравствуй, Авдей Иванович, — сказал один из-них, видимо, старший по чину, рослый, широкоплечий, при серебряной шашке, в орденах и красных бархатных звездах. — Жив и здоров?

И только тут узнал его старый коневод. Вот уж не гадал о такой радостной встрече! Склонился к широкой груди любимого табунщика и заплакал.

— Ну, ну, не надо, — улыбнулся Шумаков, усаживая растроганного Авдея Ивановича в скрипучее расшатанное кресло. — Я теперь тебя не покину. А сейчас одевайся — покажешь моим товарищам, куда племенных коней поставить.

— Кони? — вскрикнул Авдей Иванович, озаряясь радостным изумлением.

— Да, кони, — ответил Шумаков, хитро поблескивая глазами. — Ты должен их знать — «Цилиндр» и «Ценитель».

\* \* \*

Разговаривали до рассвета. Метельная ночь уже не казалась дикой, как прежде. Уже не пугал ни свист ветра, ни грохот железа на крыше. Наоборот, это темное заоконное буйство наваяло какую-то давно не испытываемую тихую и спокойную радость. Заваленная рухлядью, нетопленная чердачная комната снова стала уютной и теплой.

Драгоценные бумаги лежали на столе. Сотни разноцветных листочков, испещренных словами и цифрами, рассыпались по скатерти, как игральные карты. Когда их приподнимали на свет, подолгу шурились, хмуря брови, читали.

— Если б вернуть все это...

— Ничего, Авдей Иванович, — почесывая давно небритую бороду, говорил Шумаков. — У нас впереди целая жизнь. Еще не то займеем. Будут наши кони известны на весь мир.

— Чем чорт не шутит! Только... — Авдей Иванович задумался. — Только на двух жеребцах далеко не уедешь. К тому же они братья.

— Что ж из того?

— Родственные инбридинги. Неизбежно вырождение.

— Не допустим.

Авдей Иванович усмехнулся.

— Как же ты не допустишь, чудака человек! Тут наука бессильна. Законы природы.

— Так сломаем эти самые законы...

Шумаков не шутил. Он сказал это серьезно, твердым и уверенным голосом. Такой голос не допускал ни усмешки, ни удивления.

. — С чего же начнем?

— Завтра... прямо с утра надо приступить к составлению селекционного плана. Прямо с утра. Предоставляю вам в этом деле, Авдей Иванович, полную инициативу.

Авдей Иванович задумался. Чудесно сказано — полная инициатива. Вот если бы и впрямь она дана была ему в руки! Если б и впрямь...

## V.

Полная инициатива! Вот о чем мечтал всю жизнь Авдей Иванович. Чтобы никто не вмешивался в его дело, не сбивал, не путал карты. Чтобы то, что им задумано, осуществлялось так, как было задумано.

Бывший хозяин завода ценил его опыт, но на протяжении всех тридцати лет так и не дал довести до конца племенную работу. Он продавал каждого облюбованного жеребца и вырывал из рук Авдея Ивановича золотые ключи. Приходилось начинать все сначала — очищать нужную кровь и томиться в многолетнем ожидании результата.

Теперь все пойдет по-другому. Полная инициатива! План, который сейчас составляет Авдей Иванович, станет для завода на многие годы нерушимым уставом. Его никто не посмеет нарушить. Он, как говорит Шумаков, будет утвержден, в Москве, и Авдей Иванович обретет полное право на его неуклонное претворение в жизнь.

Это и есть счастье. Это то самое счастье, которого он ждал тридцать долгих лет. Теперь он сам, своими глазами увидит коня еще невиданной красоты — плод своих смелых и упорных исканий...

В комнате было неуютно и накурено, то и дело гулко хлопала дверь, стол скрипел и качался, но Авдей Иванович писал и писал, ни на минуту не разгибая костлявую спину. Пришла неиспытанная еще радость творческого труда. Будто внутри загорелся свет и озарил, согрел. Мысли рождались в голове одна краше другой. Позабытое вспоминалось мгновенно и исписанные листы завалили весь стол.

Авдей Иванович начал издавека. Перед тем, как приступить к определению главного направления в работе конзавода, он вспомнил историю, и к изложению основного приступил лишь на сорок пятой странице. Никакого прилития крови, никакой метизации! Завод будет выращивать абсолютно чистую арабскую лошадь. Это и явится главным направлением. Ради этого придется не пожалеть золота и приобрести группу чистокровных жеребцов и кобылиц. «Цилиндр» и «Ценитель» не в состоянии разрешить поставленную перед заводом задачу — они братья и это родство пагубно скажется на поколении...

На рассвете четвертого дня план был окончен. Как ни устал Авдей Иванович, а не смог удержаться, чтобы не перечитать его от первой до последней строки. Он не сомневался, что создал блестящий план. В Москве от него будут в восторге и утвердят, не задумываясь.

Уснул Авдей Иванович прямо в кресле, уродив седую голову на пухлую рукопись. На крыше попрежнему грохотало железо, попрежнему бились о стены ставни, но он ничего не слышал. Не слышал, как-вошел Шумаков, как вытащил из-под головы план, как тут же, не отходя стал перелистывать исписанными страницами. Проснулся, когда что-то качнуло Стол и опухнуло лицо волной пыльного воздуха.

\* \* \*

Стол качнулся от тяжести брошенной рукописи. Бросил ее Шумаков. Он уже прочел все и, ленясь вставать, наклонился вперед и кинул ее на старое место.

Ничего особенного не случилось, и все же Авдей Иванович не мог преодолеть чувство обиды. Так можно лишь бросить на стол прочитанную и ненужную книгу.

Шумаков сидел в кресле угрюмый и злой.

— Ну, как... стихло на дворе? — сам не зная зачем, спросил Авдей Иванович.

— Да, стало тише, — ответил Шумаков, продолжая думать о чем-то своем. — Немного стало тише...

Авдей Иванович отодвинул кресло, Естал. Ему вдруг захотелось самому посмотреть в окно, помолчать, Минутку подумать. И не лучше ли все-таки уехать отсюда?

Шумаков угадал его мысли. Бывший табунщик оказался умнее, чем думал до сей поры седой коневод.

— Главное — не надо отчаиваться — сказал Шумаков. Тут не ты, а я виноват. Надо бы дать установку.

Авдей Иванович вспылал:

— Какая может быть установка в таком деле. Пойми ты, это селекционный план. Законы природы.

Шумаков нахмурился. Бывший табунщик забирал в руки власть уверенно и спокойно.

— План придется переделать, — проговорил он, вставая и оправляя ремень, — завод будет не частный, а государственный. Это частнику нужны были такие кони, о которых вы пишете. А нам они не нужны. Нам нужен совсем другой конь.

— Я что-то не пойму тебя, Захарыч.

— Чего же тут не понять. Ты пишешь: никакой метизации. А вот метизация и должна лечь в основу. Кровь чистокровных мы должны прилить нечистокровным.

— Не пойму, зачем это нам?

— А затем, чтобы забрать у арабского коня все лучшие качества и передать их нашей местной лошади. Чтобы наша местная лошадь, наконец, стала такой же хорошей, как и арабская. Лошадь не для утех баронов и графов, а для пользы пролетарского дела — и под седло и в телегу.

И уже, шагая из угла в угол, добавил тоном человека, у которого в руках не только опыт, но и полная власть:

— Это и будет, Авдей Иванович, наше главное направление.

## VI.

Весна пришла ранняя, дружная. Еще в начале апреля закапало с крыш и захороводили под окном веселые воробьи. Через неделю степь зачернела и закачалась в синем парующем мареве, а еще через неделю — на окрестной равнине буйно зазеленела молодая трава.

Весна в табунной степи! Какое это благословенное время. Будто в хмелю шагаешь по мягкой душистой земле. Над голевой рассыпается долгий хрустальный звон жаворонков, из-под ног то и дело взлетают перепела. По зеленеющим косогорам скользят сизые тени облаков — их не нагонишь даже на скакуне. Взойдешь на ближний курган — и долго стоишь там, не в силах оторвать взгляда от прекрасной картины.

Но эта весна на заводе запомнилась не своей красотой, а тяжелыми бедами. В середине апреля на усадьбу внезапно налетела банда. Она сожгла деревянные постройки завода и увела с собой почти всех племенных лошадей. Найденные с таким огромным трудом драгоценные жеребцы оказались под бандитскими седлами.

Во время налета Шумаков не был на заводе. Он ездил в Москву утверждать заново созданный Авдеем Ивановичем плац. О страшной беде Шумаков узнал, когда вернулся домой. Он посидел в одну ночь, но духом не пал. Утром вооружил всех людей завода и бросился с ними на розыски банды.

Настигли ее в кустарниках Горькой балки. Чтобы не перестрелять уведенных лошадей, Шумаков повел свой отряд на бандитов с оголенными шашками. Бой был короткий, но ожесточенный. Отбить жеребцов удалось дорогою ценой. Два табунщика были убиты, а сам Шумаков получил тяжелое ранение в ногу.

А в конце июня завод постигло новое несчастье. Прокравшийся к усадьбе сын старого хозяина завода зажег конюшню. Племенных жеребцов успели вывести из пламени, но только что приобретенных заводом племенных кобылиц спасти не удалось. Они погибли в огне...

\* \* \*

...Когда исчезает снег и степь из конца в конец покрывается зеленым ковром молодого разнотравья, коневоды раскрывают ворота племенных конюшен и один за другим выпускают на волю жеребцов. Разномастные красавцы разлетаются по степи в поисках косяков. Не становись тогда на пути скачущего жеребца, он собьет неосторожного всадника вместе с конем, растопчет копытами.



Но у коневодов уже давно все рассчитано и как бы ни был жеребец неуправляем, он не минует заранее предназначенного ему косяка. И когда, наконец, он врывается в златогривую массу, табунщик облегченно вздыхает и тут же бьет шенкелями свою ключную лошадь, чтобы отъехать куда-нибудь за курган.

Табунщик скрывается за курганом не ради предосторожности. Нет, так надо. Надо дать жеребцу навести в косяке свой порядок.

Чтобы видеть, что происходит в этот час в косяке, табунщик сходит с коня и осторожно, как в боевом дозоре, по-пластунски взбирается на вершину кургана. Перед его взором одни лишь кони, но сердце его стучит, будто за курганом не косяк, а вражеский эскадрон. А вдруг не понравятся жеребцу кобылицы. А вдруг он недоволен фыркнет и бросится дальше. В такой час в нем сидит дьявол и все планы могут рухнуть.

Но все происходит как было задумано, и табунщик, радуясь весне и удаче, спокойно приподнимается и достает из кармана кiset. Теперь можно и закурить и обдумать: кому передать тех кобылиц, которых жеребец отогнал от косяка.

Их немного: три или четыре. За что они не полюбились ему — не понять. Но если вернуть изгнанниц, жеребец снова их выгонит из косяка, а при этом пустит в ход и зубы.

Изгнанниц табунщик, обычно, направляет в соседний косяк. Там еще нет жеребца, но его уже ждут. Люди волнуются. Особая служба им уже донесла: вышел! Кто он такой — давно известно. Табунщики узнают его по ржанью, по топоту. А когда слышат ржанье и топот, сейчас же, как по тревоге, взлетят в свои седла, — гость, хотя и дорогой и желанный, но лучше с ним не встречаться.

Его ждут и все же он появляется неожиданно. Ровная кромка зеленого косогора — и вдруг сразу на этой кромке — белый конь. Вскинув голову, он зорко оглядывает знакомую степь. Оттуда ему видны оба косяка. Конь перехитрил людей. Теперь он вправе сам сделать выбор.

Раздумье продолжается недолго и «Циан» стремительно срывается с места. Что он решил — табунщики разгадывают сразу. И, разгадав, снова присаживаются на траву, чтобы подышать самосадом. «Циан» поскакал не туда куда надо, но еще рано из-за того поднимать тревогу.

И вот жеребец у косяка. Он замедляет бег и, звонко заржав, бьет копытом о землю. Он будто дает знать о своем появлении. Явился, мол, сам «Циан», лучший сын «Цилиндра», в жилах которого струится чистейшая стрелецкая кровь.

Но вдруг совсем неожиданно для «Циана» кобылицы шарахаются в разные стороны. Мгновенно образуется живой коридор и через этот коридор, словно вихрь, навстречу «Циану» вылетает «Ценитель». Кто смеет так близко подойти к его косяку?

Нет, «Циану» не удалось перехитрить людей. Они предугадали эту встречу и выпустили из конюшни прежде всего сильнейшего. Вступать с ним в единоборство не стоит. Благоразумнее рвануться в сторону на поиски нового косяка. «Ценитель» прекращает погоню на полпути от табунщиков.

А «Циан» подлетает к другому косяку и снова ржет и снова бьет копытом о землю. Затаившиеся в высоком осоте табунщики глядят на него и радуются: они уже представляют, какими красавцами пополнится их табун.

## VII.

Старость братьев пришла, когда в конюшне стояли полные неистраченной силы сыновья, а вокруг завода по зеленеющим балкам бродили многочисленные табуны внуков и правнуков.

Первым пал «Ценитель». Год спустя, зарыли кости и «Цилиндра». Художник нарисовал картину: два коня, два белоснежных красавца стоят посреди майской степи и, вскинув легкие головы, зорко оглядывают лазурную даль. Картина висит в кабинете Шумакова.

В те годы завод уже стоял на пути к осуществлению заветных желаний коневодов. Нелегким был пройденный путь: почти из ничего вывести целую породу. Приходилось дерзать, идти на открытый риск. Появившийся на свет жеребенок и радовал и тревожил — а вдруг он не будет таким, каким его ждали. А вдруг обнаружится вырождение, беспородность?

И чтобы избежать этих бед, долго и упрямо смешивали кровь с кровью. Схема скрещиваний заплеталась на бумаге в замысловатый узор. Сотни разноцветных линий то собирались в узел, то снова рассыпались в разные стороны, пересекая и обвивая друг друга.

«Цильван» повторил деда с изумительной точностью и когда его выводили из конюшни, Шумаков невольно вздрагивал: ему казалось, что перед ним «Цилиндр».

— Ну что косишься? — говорил Шумаков, ласково поглаживая по крутой шее рассерженного удилами коня. — А забыл, как слизывал с моей ладони сахар?

«Цильван» нервно перебирал точеными ногами.

— Не подведешь?

«Цильван» мотал головой, словно понимал о чем спрашивал Шумаков. А спрашивал он молодого коня вполне серьезно: не подведет ли он на предстоящих традиционных скачках? Сумеет ли внук «Цилиндра» доказать, что выведенная с таким трудом порода коня достойна признания. Её пока не признали — и то, что совершит жеребец «Цильван», должно послужить началом славы завода.

На скачки уехали все, кто только мог уехать. Трибуны были еще пусты, а Шумаков и Авдей Иванович уже расхаживали по зеленому полю ипподрома. Они волновались, как ученики перед экзаменом.

Авдей Иванович за последнее Бремя сильно изменился. Прошлые годы навалились на его плечи всей тяжестью, и он, тонкий и сгорбленный, походил в эти минуты на засохший подсолнух. Но Шумаков выглядел еще молодцом. Директор завода сумел сохранить бравую кавалерийскую выправку.

Лошадей на ипподроме было много, но «Цильван» не терялся из глаз ни на мгновение. Он не мог затеряться. Он был самым красивым и самым рослым среди всей конной массы.

Прошло с полчаса. На залитой солнцем трибуне появились люди. Они занимали места как можно ближе к призовому столбу. Вглядываясь в их лица, Шумаков узнавал много знакомых — директоров окрестных конзаводов, табунщиков и старых кавалерийских командиров. Надо бы подойти, пожать руки, а кое с кем обняться и расцеловаться — сколько лет, сколько зим! Но «Цильван» выходил на беговую дорожку и было не до того.

«Цильван» промчался по кругу ипподрома в ослепительном блеске солнца и оттого казалось, что весь он, от ушей до копыт, осыпан серебряной пылью. Шумаков чувствовал, что с трибуны на него смотрят во все глаза. Вряд ли когда-нибудь здесь появлялся конь такой красоты.

— Я узнал бы его за десять километров, — сказал Авдей Иванович, нервно теребя рукой белую бороденку. — Сразу же, безошибочно.

— Как не узнать такого, — улыбнулся Шумаков, и тут же, еще не смахнув с лица улыбки, подумал: а хорошо ли это?

Хорошо ли, что «Цильвана» можно не только увидеть, но и узнать на таком расстоянии? А если, допустим, был бы он под седлом у самого Шумакова во время войны? Решился бы он, Шумаков, на этом коне пронестись вдоль развернутого для атаки полка? Нет, не решился. А решился бы — полк похоронил бы своего командира тут же, после первого боя. В летнее время белый конь — прекрасная мишень для вражеского снайпера. Слетает с седла прежде всего тот, кто скачет на белом коне.

Эта внезапно залетевшая в голову мысль обожгла Шумакова. Он вдруг понял, что заявка на новую породу коня им подана рано. Много сделано, а все же не до конца. Конь здоров и красив и, пожалуй, самый быстрый, но... ему нужна другая окраска. Он должен быть гнедым или рыжим.

— Рекорд, даю честное слово, мировой рекорд! — радостно воскликнул Авдей Иванович, хватая за руку Шумакова. — Чорт возьми, да почему же ты не смотришь на секундомер — тысячу метров за шестьдесят девять секунд.

Но Шумаков молчал.

— Да что с тобой, Сергей Захарович? Ведь это же приз! Понимаешь, классное место. Лучшего коня нам и желать не надо.

— Нет надо, Авдей Иванович, — резко, обрывая взволнованного до слез старика, сказал Шумаков.

И уже шагнув, чтобы уйти на трибуну, где его ждали старые боевые друзья, добавил:

— Если кто спросит — скажите, что оформлять материалы на свою породу для представления правительству пока воздержимся. Рано.

\* \* \*

Связанные было в единый пучок разноцветные линии на схеме скрещиваний вновь рассыпались в тот же замысловатый узор. Теперь, смешивалась не только кровь, но и масть. Надо было вывести жеребцов не только белых, но и гнедых и рыжих, но вывести так, чтобы сохранить в них все золотые качества тех двух, белоснежных, что красовались в резной раме в кабинете директора.

Прошел год, другой, а удача не приходила. Масть отцов упрямо не уступала масти матерей. По мере подрастания жеребята линяли и сбрасывали родимый цвет. С каждым месяцем они становились светлее и светлее, а когда наступала их зрелость, на крупах не сохранилось ни одного темного пятнышка.

— Не стоит тратить зря времени, — говорили Шумакову друзья. — Конь выращен великолепный и надо давать на него заявку.

— Нет, подожду, — отвечал Шумаков.

— Ну, а чего ждать? Ведь все равно изменить масть не удастся. Это, брат, дело не нашей воли.

— Нет нашей, — отвечал Шумаков.

Расставались рассерженные. Друзей выводило из терпения упрямство Шумакова, а Шумакова — их сомнения в успехе задуманного дела.

Но настал день, когда и у Шумакова зародилось сомнение. С утра он выехал в степь, где до позднего вечера смотрел табуны. Вернувшись в усадьбу, вызвал к себе Авдея Ивановича и, не поднимая на него омраченного взгляда, сказал:

— Ну, что посоветуешь, дорогой?

— Неужели ни одного?

— Ни одного...

Авдей Иванович задумался. Шумаков спрашивал у него совета, а он не знал, что сказать. Если и на этот раз среди молодняка не оказалось ни одного жеребца темной масти, значит, больше незачем тратить силы и время.

\* \* \*

Но на заводе уже был коллектив и, если один человек падал духом, то не падал другой.

— Сергей Захарыч, — окликнул однажды Шумакова подъехавший к распахнутому окну кабинета всадник. — Верно ли, что вы дали распоряжение начать оформление документов на нашу породу?

— Верно, — ответил Шумаков, склоняясь на подоконник, чтобы увидеть лицо зоотехника завода Чепурнова. — А что?

Чепурнов спрыгнул с седла и, не выпуская из рук поводьев, также склонился на подоконник.

— Да как же так?

Таким взволнованным Шумаков его еще ни разу не видел. Было похоже, что он прискакал из степи с какой-то тревожной вестью. Лицо его было потно и запылено, губы дрожали.

— Как же так, не пойму!

Шумаков уважал Чепурнова. Этот чернявый юноша, попавший на завод прямо со студенческой скамьи, оказался очень толковым. Он любил лошадей, а профессию коневода считал самой интересной на свете.

— У меня у самого сердце болит, — вздохнул Шумаков. — Но другого выхода не вижу. Масть, похоже, изменить невозможно.

— А вы видели «Молодца»?

— Какого «Молодца»?

— Сына «Мароша».

— Видел. Но ведь он еще жеребенок. А жеребята, сам знаешь, не рождаются белыми. Подрстет — перекрасится.

— Нет, не перекрасится, — горячо перебил Шумакова зоотехник. — «Молодец» будет рыжим. Честное слово!

Шумаков задумчиво глядел на горизонт, уже окрашенный пламенем заката. Ему нравилась такая уверенность. Но в то что «Молодец» будет гнедым, не верил.

Поверил Шумаков Чепурнову, когда увидел сына «Мароша» во второй раз. Это произошло уже когда «Молодец» принял формы родного отца. Перед Шумаковым стоял великолепный рыжий конь.

## VIII.

Месяц спустя после заявки на новую породу коня, началась Великая Отечественная война.

Битва за родину потребовала не только совершенного мотора, но и крепкого и выносливого коня. Вместе с механизированными частями на фронт уходили кавалерийские корпуса. На советскую кавалерию были возложены ответственные боевые задачи.

Ставрополье издавна славилось своей кавалерией. Степная сторона приучала ставропольца с малых лет любить и холить коня. Еще безусым он умел джигитовать, стрелять и рубить на полном скаку. И с первых же дней войны, в ответ на призыв вождя, хлынули на фронт лихие ставропольские конники.

\* \* \*

Следом за лошадьми люди шли до самого перевала. А когда возвращались назад, на завод, то и дело оглядывались, не пряча друг от друга опечаленных глаз.

И как всегда табунщик Болдырев говорил:

— Что значит привычка. Расстаешься будто с родными детьми. Слеза прошибает.

И как всегда Авдей Иванович отвечал:

— Тут не привычка, тут, дорогой товарищ, совсем другое. Просто жаль таких лошадей.

Тогда в разговор вмешивался Шумаков:

— Не жалеть надо, а радоваться. Подсчитайте, сколько бойцов уже сидит на наших конях. А на таких конях, как наши, кавалерия еще не ходила. Не зря же их просит у нас сам Доватор.

Вмешивался в разговор Чепурнов. Он был согласен с директором, но желал прибавить к высказанному кое-что свое. Солдат и конь — боевые друзья. Сколько можно припомнить историй, когда конь выносил из атаки обессиленного от ран бойца, спасая от верной смерти, или потеряв в пути подстрелянного вестового, продолжал мчаться вперед, унося в штаб упрятанное в седле донесение.

\* \* \*

...Уже и солнце склонилось к закату, а конница все шла и шла. Тот эскадрон, который проехал через село первым, давно скрылся за околицей, а на улице попрежнему гремел цокот сотен копыт. И где, скажи, можно было найти столько лошадей, да каких лошадей! Под каждым солдатом — писанный красавец. Дай повод такому коню, помчит быстрее самого ветра.

— Эй, родимый, заверни на минутку. Чай, истомился в дороге, а у меня в кувшине холодное молоко.

Молодой конник оглядывается на голос и, улыбаясь, медленно подъезжает к плетню. Почему же не угоститься, если это от чистого сердца? Старик напоминает ему родного отца, а та, белокурая, что выглядывает из-за спины, определенно невеста.

— На фронт, сынки?

— Туда дорога,— отвечает молодой конник, кося черным глазом на белокурую дивчину, — идем бить немца.

— Ну, крушите, крушите, его, расхреклятого. Чтоб знал, беластый, как соваться в Расею.

Конь пляшет под всадником. Молоко льется на подбородок бойца, на гимнастерку, на луку седла. Дивчина хохочет и спешит достать из-за пазухи расшитый узором платочек.

\* \* \*

— Ну и кони! — жмурит глаза старик. — Видать, аглицких кровей.

— Нет, деду, ошибся, — усмехается всадник, чуть наклоняясь, чтобы похлопать ладонью по глянцевої шее коня, — это своя кровь, отечественная. Золотое тавро!

Старик передает дивчине пустой кувшин и протягивает руку через плетень. Ему тоже хочется поласкать дорогого коня. Но поздно. Кивнув головой на прощание, всадник лихо срывается с места.

\* \* \*

Было это еще в начале первой военной зимы, как раз в тех местах, где стоят каменные монументы над могилами павших героев Бородина. Над скованной морозом землей гремело сражение. Багровый дым пожарищ плыл по небу. Пламя взрывов взлетало до самого солнца и, солнце, закопченное дымом, висело над соснами тусклым кровавым шаром.

Отступать дальше было нельзя — слишком глубоко вошел в тело страны вражеский нож. За спиной, в синей дымке рассветов уже вставали контуры родной столицы, и люди в серых шинелях сняли шапки-ушанки и, став на колени, поклялись перед своими боевыми знаменами: не сделать назад ни одного шага. Война подошла к самому сердцу России, и тот рубеж, где клялись бойцу, стал главным рубежом обороны.

— В Москве немцу не быть.

Когда сражение достигло наивысшего напряжения и во многих местах перешло в отчаянные рукопашные схватки, в глубоком тылу врага вдруг появилась большая группа советской конницы. Как она туда прорвалась? В условиях траншейного боя, когда все от края до края завалено снегом и опутано колючей проволокой, когда над каждым пригорком, над каждым просветом в лесу сплошной стеной стояла огненная смерть и даже птица не в силах была перелететь через линию фронта, это показалось для многих невероятным. Но все же это была правда, радостная для советских солдат и страшная для врага. Учувя угрозу удара в спину, немцы сразу же ослабили фронтальный нажим, и, огрызаясь, стали медленно откатываться назад.

Тем временем советские конники перерезали все дороги отступления врага. Они налетали на противника, как ураган, громя и уничтожая его штабы, автоколонны, обозы. У деревни Рибшево они вырубали три полка вражеских гренадеров, разгромили штаб корпуса, взорвали мосты. Куда бы ни бросались немцы, всюду они натывались на всадников в черных бурках.

Командовал этой конной группой молодой советский генерал Лев Михайлович Доватор.

Нелегко было в те дни советской пехоте лежать на трескучем морозе, но конникам бродить по тылам врага было еще тяжелее. Они не имели возможности ни отдохнуть, ни согреться. Жили среди снегов, под открытым небом.

А мороз лютовал во-всю. Бойцы обжигали руки о холодную сталь оружия. Шинели промерзли и стали похожи на железные панцири. Оледеневшие ремни сбруи ломались, как сухой чакан.

Вскоре к мучительным испытаниям холода прибавились голод и бескормица. Люди ели выдолбленную из земли мерзлую картошку, а лошади — гнилую солому с крыш крестьянских хат.

Не раз генерал Доватор бывал со своей конницей в тылу врага, но никогда еще не приходилось ему испытывать столько тревоги за исход операции. Люди выдержат все: и холод, и голод — русский солдат самый выносливый и стойкий, — но выдержат ли кони, эти безропотные и верные боевые друзья? Что, если не выдержат? Ведь впереди еще двести непройденных километров. Пройти их надо не по дороге, а напрямик через заваленные снегом поля, через дремучие чащи, скрытно и быстро, почти без передышки.

Особенно тревожился Доватор за действия 53-й Ставропольской дивизии, которая влилась в его корпус незадолго до рейда. Люди там были прекрасные — боевые и смелые, но кони... кони не внушали доверия. Уж слишком они были холеные. На таких лошадях только красоваться на ипподромах.

А обстановка сложилась так, что Доватору пришлось выдвинуть 53-ю дивизию на острие своего корпуса. Ставропольцы должны были прорываться вперед, совершая стремительные ночные броски и обходы. Их появление должно быть для противника всегда неожиданным.

Тревога усилилась, когда стало известно, что немцы разгадали бедственное положение в корпусе с кормом. Теперь захваченные на пути деревни встречали конников пеплом и там нельзя было найти даже пучка гнилой соломы. Немцы сжигали все.

Но странное дело — уже двенадцатые сутки 53-я Ставропольская прокладывает в сугробах дорогу для корпуса, а среди пеших, как и прежде, ни одного ставропольца. Уже под самим генералом конь едва не валится с ног, а следы 53-й Ставропольской попрежнему убегают вперед. На каждой тропе снег утрамбован копытами, что гудрон.

Удивлялся Доватор, как удастся ставропольцам сохранить силу своих лошадей? Чем они их кормят, какой хитростью спасают в открытой степи от лютых морозов? Удивлялся Доватор и, удивляясь, радовался всей душой. И хвалил ставропольцев от всей души, хотя скупился хвалить даже героев.

Открыть «хитрость» ставропольцев довелось только после рейда. Объезжая раскинутые по деревьям свои прославленные полки, Доватор случайно наткнулся в лесу на ночной костер, возле которого сидел усатый казак.

— Здорово живешь, — сказал Доватор, передавая коня ординарцу. — Кто такой будешь?

Узнав генерала, усатый вытянулся:

— Здравия желаю, — спокойно, но браво ответил он. — Коневод четвертого эскадрона одиннадцатого полка Кузьминов!

Доватор присел на пенек. Было приятно отдохнуть в тишине под сенью заснеженных сосен, у костра, рядом с бывалым солдатом.

— А почему ж это лошади не на привязи... бродят по сугробам?

— Пасутся, — ответил Кузьминов, протягивая генералу кисет с самосадом, — они у нас и зимою пасутся. Так приученные.

И, помолчав немного, добавил:

— Они приученные к такому еще на нашем конном заводе, чтоб не боялись ничего: ни бескормицы, ни мороза...

\* \* \*

Все произошло неожиданно.

Правда, еще на рассвете небо обложили угрюмые, черные тучи, но никому и в голову не приходило, что тучи могут обрушиться на землю море воды. Тихая и спокойная Гжать сразу будто сошла с ума — она так широко развернула берега и так забурлила и закрутила, что волей-неволей пришлось прекратить переправу.

Однако ждать, пока снова спадет в реку вода, командование не могло. Переброшенный на ту сторону стрелковый батальон капитана Морозова уже повел бой. В район еще не укрепленного плацдарма немцы поспешно перебрасывали мотопехоту и танки. Не оказать Морозову немедленной поддержки, значит, обречь его людей на верную гибель, отложить наступление.

А вода в реке не спадала, а прибывала. Она начала заливать весь прибрежный лес. Батарей, прикрывающие своим огнем переправу, были вынуждены отойти. Дорога подхода превратилась в бурлящий поток. Заготовленная для моста громада спиленных сосен зашевелилась, будто ожила, рухнула и поплыла. Исчезли из глаз блиндажи, штабные землянки. Затаившиеся в кустах батальоны кинулись на деревья, а подоспевшие к этому времени конники встали ногами на седла.

Между тем на противоположном берегу развернулся настоящий бой; Немцы начали атаку, намереваясь сбросить морозовский батальон в реку. По мере того, как нарастал бой, людьми, на залитом водой берегу, овладело чувство, похожее на отчаяние. Их не переставала жечь мысль, что они оставили целый батальон, — восемьсот лучших бойцов, родных бойцов, — на произвол судьбы. Страшная развязка близилась, а они, собранные здесь в мощный кулак, бессильны предотвратить ее, выручить из беды боевых побратимов, ушедших вперед для того, чтобы прикрыть от врага переправу.

Так прошел час. Тот, кто сидел на соснах, видел сквозь ветви, что батальон Морозова держится крепко. Немцы три раза бросались на его редкую цепь, но успеха не имели. Невдалеке от берега уже дымились три подорванных гранатами вражеских танка.

Конники не хотели стоять на месте. Они то и дело передавали по цепи в штабарм одну и ту же просьбу: не ждать. Они решались идти через взбесившуюся реку вплавь. Под ними добрые кони, и если на то будет отдан приказ, через тридцать—сорок минут вступят в бой.

Из штабарма не отвечали. Там, видно, не верили, что конница одолеет реку. Или не верили, или ожидали решающей минуты.

— Веди нас! — кричали усатые конники своему командиру, высокому и плечистому подполковнику. — Может, там в штабе не знают что у нас кони золотого тавра. Наши кони ничего не боятся.

Подполковник хмурился и делал вид, что ничего не слышит. Но каждый раз, когда раскаленный боевым вдохновением крик взлетал над водой, приподнимал к бровям руку и подолгу шурясь смотрел на противоположный берег.

\* \* \*

Капитан Морозов был человеком волевым и спокойным, но когда немцы начали четвертую атаку, так и не смог свернуть папиросу.

Четвертую атаку немцы повели одновременно с трех сторон при поддержке семнадцати тяжелых танков. Предстоял страшный натиск, а у солдат капитана Морозова не оставалось ни гранат, ни патронов. Лучшие бронебойщики были или убиты, или ранены, противотанковая пушка заклинена.

Окопы, в которых залег батальон, не имели полного профиля. К тому же их залила хлынувшая с откоса дождевая вода.

Немцы подходили. Впереди, разрывая гусеницами низкорослый кустарник, ползли танки, за ними, пригибаясь к земле, кралась пехота.

Морозов глядел на неотвратимую волну смерти и думал, теперь только чудо может спасти батальон. Он, конечно, будет держаться до последней минуты, но кровь, которая прольется в этих окопах, не оправдает цели. Захваченный плацдарм придется сдать.

Преодолев, наконец, охватившую его дрожь, Морозов чуть приподнялся над бруствером и прилег к пулемету. Как бы там ни было, но он не отдаст свою жизнь так просто и дешево. Пока на него навалится танк, Морозов постарается срезать всех, кто попадет под прицел.

— Дай докурю...

Лежащий рядом боец протянул руку, чтобы передать капитану недокуренную папиросу и, словно прикоснувшись неожиданно к огню, отдернул ее.

— Оглянись, капитан!

Морозов оглянулся. Верить глазам или не верить? Вся река, от загиба до загиба была покрыта черными бурками. Их были тысячи, советских конников, преодолевающих реку вплавь. В отдельных местах они уже были на этом берегу, зарывались в землю, выкатывали на пригорки станковые пулеметы. В отдельных местах уже строились в боевой порядок, готовясь развернуться для бесстрашной кавалерийской атаки.

То была прославленная 53-я Ставропольская.

## IX.

О чем бы ни заводили табунщики ночную беседу — пускай о шине, пускай об урожае или просто о своей жизни, а все равно через минуту — другую заговорят о коне. Те, что решили, было, вздремнуть, снова подвигаются к костру, снова свертывают папиросы. На что уж Корзун, из которого за день не выбьешь ни слова, а и тот начинает подавать голос.

И оттого короткие летние ночи становятся еще короче. Рассвет прилетает почти неожиданно в самую волнующую минуту. Поднимаются табунщики и жалеют, что не повели беседу еще с раннего вечера.

Вот и опять они у костра. Новая ночь. Степь залита ярким лунным сиянием и травы, уже осыпанные росой, блестят золотой парчой. Где-то близко цветет чебрец — его сладкий запах то и дело наплывает на стан. Тихо. Чуть в стороне фыркают кони, трещит под их копытами прошлогодний бурьян, да из ближнего хутора доносится девичья песня — то печальная, то веселая...

Рассказ ведет табунщик Величко. Он сам этого не пережил, но рассказывает так, как будто все видел своими глазами. То правда, а для правды душа сама подбирает слова.

...Возле саманной конюшни, покрытой молодым камышом, стоит одинокий мужчина в запыленной гимнастерке. Его лицо опалено солнцем, по-степному прищуренные глаза задумчиво смотрят вдаль. Он коренаст и широкоплеч, а короткие, сильные ноги слегка искривлены, как у старого конника буденновской выучки.

Кто стоит у конюшни, хуторяне могли бы узнать издали. Но хутор опустел еще на рассвете. Только у пруда, за плакучими ивами гогочет стая белых гусей.

А спина у Никиты еще не просохла от пота. Он только что слез с седла после долгой и утомительной скачки. Три недели назад его услал колхоз на конзавод, чтобы пригнать купленного племенного коня. Было задумано большое дело — развести и у себя лошадей золотого тавра.

И вот звенит удилами белый красавец в колхозной конюшне, стоит и ждет, на что решится его хозяин. Пока Никита ездил за ним на конзавод, все перевернулось. Люди ушли. Сожгли свои хаты и ушли из хутора. Исчез даже баштанный шалаш, даже хромоу баштанный сторож Емельян не пожелал смотреть на окаянные шинели змеинового цвета.

А на перевалах, залитых лучами полуденного солнца, Никита уже отчетливо видит черную пыль, поднятую гусеницами вражеских танков. Медлить нельзя, но Никита медлит. Сотни мыслей мелькают в сознании, но еще ни на одной не остановило Никита и еще не решил он, как спасти драгоценного жеребца. Свободной от пыльных столбов оставалась только одна дорога — в пески, в глухую и безводную степь, куда даже в добрую пору редко ступала нога человека.

Но не стоять же в раздумье и дожидаться пока вражьи руки возьмут жеребца под уздцы. Пусть лучше он сгинет в песках, чем достанется немецкому юнкеру. И Никита, ослепленный этой отчаянной мыслью, бросается в конюшню. Дрожащими от волнения пальцами он отвязывает коня и поспешно выводит наружу. Полукруг пыльных столбов через минуту — другую соединится своими концами — Никите надо успеть проскочить мимо них незамеченным.

Может, и видели его немцы в тот час, только вряд ли кто из них догадался, что это промчался всадник. Так могла скользить над некошенными хлебами лишь дикая птица. Лишь белая птица могла блистать так ослепительно.

Так совсем неожиданно очутился Никита среди песчаных дюн, окутанных лохматым и колючим кураем. Здесь враги больше не угрожали ему, но впереди все было неясно и тревожно. Немцы находились всюду. Гул артиллерийской стрельбы уже доносился не только с юга и с севера, но и с востока. На бурунную степь, казалось, была выброшена огромная огненная петля.

Первая неделя жизни в песках прошла для Никиты почти незаметно. Он наткнулся на чабанский колодец, возле которого зеленела лужайка люцерны. Стреноженный жеребец бродил по лужайке, а Никита, настроив из конского волоса хитроумные петли, промышлял птиц.

Но вскоре над головой Никиты все чаще и чаще стали появляться вражеские самолеты. Порой они шли бреющим полетом, едва не цепляясь колесами за песчаные гребешки. Порой кружились высоко в небе, подобно стервятникам, высматривающим поживу.

— Если убьют меня, то ты уж послушайся... не давайся им в руки, — говорил Никита коню, истомясь молчанием, — Ни за что не давайся.

Так прошло время от лета до осенних туманов, от августа до ноября. В ноябре на бурунную степь упал первый снег. Одетый в одну лишь гимнастерку, Никита мерз, от холода лязгал зубами, прижимался к коню, стараясь хоть сколько-нибудь согреться.

И вот случилось: на буруны налетел зимний шурган. Сильный ветер яростно захлестал по земле. Песчаная поземка с воем понеслась на запад, а следом за ней стадом покатались оторванные от промерзлого корня кусты курая. Когда налетает шурган, люди прячутся в хаты, под крыши. Никите негде было укрыться — от горизонта до горизонта лежала обнаженная степь. Он не мог найти даже затишья, и когда вокруг завывало и закружилось, понял, что теперь коня ему не спасти.

Шурган поднялся невиданный и, как и предполагал Никита, погнал жеребца на запад. Он погнал его так же легко, как гнал курай, и Никита уже ничего не мог сделать, чтобы остановить его. В сознании оставалось одно: на западе враги в жеребца отдать им нельзя. Никита напрягал последние силы, отчаянно натягивая повод.

...Когда его снимали с седла, поводья пришлось обрезать ножом — они вдавились в оледеневшие пальцы почти до костей. А сняли Никиту с седла советские танкисты, внезапно появившиеся на своих грозных машинах на улицы хутора. Немцы уже откатывались, о чем Никита не знал. Красавца-коня танкисты передали колхозникам, а замерзшего табунщика похоронили в братской могиле вместе со своими боевыми друзьями, павшими во время последнего боя...

— А вот я расскажу, — откликнулся табунщик Миронов, оглядывая задремавшую в предутренний час знакомую степь. — Расскажу про верность коня. Сам это я пережил...

...Случилось это с Мироновым еще в начале Отечественной войны. Отстав от своего полка, он осторожно пробирался по местам недавних боев, далеко обходя занятые немцами редкие деревушки. Что и говорить, были минуты, когда он уже совсем падал духом и терял надежду выйти к своим.

Однажды на лесной поляне, заросшей высокой травой, он натолкнулся на труп терского казака. Убитый лежал вверх лицом — коренастый и плотный, с большим черным чубом. Руки его были раскинуты и плотно сжаты в кулаки. По всему было видно, что умер казак с презрением к смерти, как и подобает русскому воину.

Миронов вытащил из кармана нож и стал долбить землю, чтобы исполнить последний долг — присыпать труп землей. И вдруг Миронов услышал тихое ржанье. Радостная догадка осенила его: где-то совсем близко бродит осиротевший конь убитого казака. Теперь-то Миронов спасен — он поймает коня и будет продолжать путь на восток верхом.



Через полчаса он уже держал под уздцы лошадь. Это была гнедая кобылица с белыми чулками на передних ногах. Завидев Миронова, кобылица метнулась, было, в сторону, но потом покорно остановилась. На ней было казачье седло и бархатная переметная сумка.

— Ну, подружка моя, — сказал Миронов, заглаживая кобылицу по лбу, — теперь я не оставлю тебя одну. Мы будем вместе пробираться в родные места.

Выждав в зарослях до вечера, он вскочил в седло и тронулся в путь. Отыскав в траве чуть заметную тропку, Миронов потрепал кобылицу по шее и дал ей повод. В темноте править умным конем нельзя — повод мог не только сбить с нужного направления, но и с разбегу ввалить в болото.

Вскоре от мерной качки в седле Миронов задремал. Как долго пришлось спать — он не знает, но когда открыл глаза, увидел, что неподвижно стоит посреди небольшой травянистой полянки.

— Ну, пошла, пошла, — тихо сказал он, толкая каблуками тощие бока кобылицы, — чего остановилась?

Но кобылица не тронулась с места. Понутив голову, она продолжала стоять, точно стреноженная.

— Уж не трясина ли впереди? — подумал Миронов и, спешившись, осторожно шагнул во тьму. Чиркнула спичка, и когда ее слабое пламя осветило траву, он вздрогнул и отшатнулся: перед ним, чуть присыпанный еще не просохшей землей, лежал знакомый труп казака.

Было ясно — кобылица не уходила отсюда потому, что не хотела расстаться со своим хозяином.

Миронов не применял силы. Да и вряд ли он мог одолеть упрямое животное. Ласково потрепав кобылицу по шее, Миронов сбросил с нее седло и ушел прочь...

Волей судеб Миронову снова довелось побывать на этой полянке. Произошло это спустя год, когда его батальон преследовал разгромленный полк немецких гренадеров. Без труда отыскал Миронов в траве знакомое место, где когда-то наткнулся на труп казака. Там была небольшая, уже заросшая лесной травой могила, а в пяти шагах от нее вразброс валялись белые лошадиные кости.

...Миронов смолк. Как и прежде, сияла в небе луна. Отяжелевшие от росы стебли травы низко склонились к земле. У кого-то под раскинутой буркой чирикнул сверчок — чирикнул и снова притих, будто прислушался к думам табунщиков.

— Найду и я что рассказать, — подвигаясь к костру, произнес табунщик Болдырев. — В ту пору вы все были на войне и потому не знаете, что у нас произошло за Волгой во время эвакуации нашего конзавода.

А произошло там вот что.

...Еще задолго до вечера через небо наискось полетели тяжелые серые тучи. Клубясь и заматываясь в узлы, они опускались все ниже и ниже и вскоре слились с горизонтом в плотные мглистые сумерки. День померк раньше времени. Телеграфные провода зазвенели, как струны, а по степи понеслись жгучие снежные струи.

Тогда все почувствовали себя беспокойно. Надвигался буран, а табуны шли по открытой и ровной степи. На десятки километров — ни кустика, ни жилья. Перелogi и балки, которыми так богата ставропольская степь, в этих незнакомых краях встречались очень редко, к тому же они были слишком покаты и не могли служить затишьем от ветра.

Отдав распоряжение остановить табуны, Шумаков накинул на плечи бурку и сел в «виллис». Он решил разведать местность. Надо было найти хотя бы скирды или чабанские кошары. Если нет возможности укрыть от бурана всех лошадей, то можно будет поставить в затишье жеребят.

— Ну, нажимай, Вася, — сказал Шумаков шоферу.

Мчались долго, а быть может, так только показалось. Мчались долго, но кругом, насколько хватал глаз, лежала голая степь.

Между тем буран уже наседал, уже крутил снег, выл и - свистел. Метельная мгла напозала все плотнее и плотнее. Не стало видно ни дороги, ни телеграфных столбов. Кони встревожились и собрались в кучу. Еще минута и они, не выдержав ветра, сорвутся с места.

Не было еще у людей завода такой страшной минуты. Понимал каждый — если табуны не выдержат ветра и сорвутся — все погубло. Кони будут мчаться по ветру до тех пор, пока хватит сил, пока не затеряются без вести. Может, и удастся их разыскать, тогда стихнет буран, но уже без жеребят. Жеребят не найти. Разве только летом увидишь разбросанные по ковыльной степи белые кости.

Понадобилось нечеловеческое усилие удержать лошадей до той минуты, когда было принято решение: взявшись за руки, развернуться в цепь и итти так по ветру впереди лошадей, понемногу сдерживая их, не давая им переходить на бег. Итти до тех пор, пока не стихнет буран.

И шли. Шли почти до полуночи. Куда гнал буран. Руки немели от мороза, но надо было терпеть и люди терпели.

Если бы не счастливая случайность, трудно сказать, чем бы это кончилось. Идущие впереди вдруг наткнулись на саманные стены. Что это село, поняли не сразу, а когда поняли, бросились обнимать друг друга.

Но отогреться в тепле не пришлось никому. Едва табуны влились в село, буран закрутил еще сильнее. Те же люди, которые прошли по снегам пятнадцать километров, вынуждены были снова взяться за руки, чтобы перегородить улицы и переулки. На всю ночь, на весь день.

Буран стих только на третьи сутки. Только утром третьего дня представилась возможность направить табуны на нужную дорогу. Но люди не радовались: по дороге теперь шли только взрослые кони. Жеребят не было, они пропали и где пропали — никто не знал...

— Так и не нашли? — не выдержал табунщик Сашка.

— Обожди, не перебивай, — нахмурился Болдырев. — Еще многое недосказано.

Но досказывать оставалось не так уж много. Через неделю, когда завод расположился на конефермах казахстанских колхозов, Шумакову пришло письмо. Его прислали жители села Баскунчак. Они писали, что о потерянных жеребьях беспокоиться не надо. Они-то и потерялись лишь потому, что их всех во время бурана баскунчакцы затащили в свои хаты, где и отогрели, и накормили, и обласкали, как детей.

Кто-то порывался рассказать, как потом ездили благодарить баскунчакских жителей, но в этот момент, словно по сговору над, степью взлетели жаворонки и запели свою звонкую песню рассвета. Табунщики потушили папиросы и встали: надо было гнать лошадей на водопой.